Пушкин - это Россия

Илья Яковлевич Бражнин

SHOUT
SHARE
IT

- Илья Бражнин

Илья Бражнин
Пушкин — это Россия

После смерти Пушкина Тютчев писал:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

Очень хорошо и очень верно сказано. Сердце России предано Пушкину, как сердце Пушкина предано России. Пушкин и Россия слитны и нераздельны. Нельзя вообразить себе Пушкина без России и Россию без Пушкина. Да и жизнь каждого из нас немыслима без Пушкина.

Не знаю, кто первый сказал: «Мой Пушкин», но сейчас это не только заглавие многих книг, статей, радиопередач, но и обиходное речение, очень четко и сердечно выражающее наше отношение к поэту.

Пушкин стал многим из нас чем-то глубоко личным. Но еще важнее то, что он стал не только моим Пушкиным или твоим Пушкиным, но и нашим, стал Пушкиным всеобщим, всеобязательным, всенеобходимым, всечасным в нашей жизни, в жизни нашего общества, нашего народа.

Это поистине так. И это поистине прекрасно. Пушкин — не только личная вотчина всякого из нас, но и наша общая родина. За всех нас это очень ясно и открыто выразил Михаил Пришвин в одной из своих дневниковых записей: «Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где я наладился жить, то и другое для меня теперь археология; моя родина не превзойденная в простой красоте, в сочетавшихся с ней доброте и мудрости, моя родина — это повесть Пушкина „Капитанская дочка“».

Кстати, «Капитанскую дочку» Марина Цветаева считала самым поэтическим из всех произведений Пушкина.

Когда-то загнанный произволом царских жандармов в захолустную Кушку, на край света, в палочную ссылку, оторванный от родины, от всего, что дорого сердцу, Тарас Шевченко смягчал горечь сущего сладостными воспоминаниями:

И вспомнил милого Энея,
Украйну милую мою.

«Энеида» Ивана Котляревского и ее герой — «моторный

парубок Эней» были для Шевченко утишающим душевные бури миражем милой Украины, были образом родины.

Более чем столетие спустя Михаил Пришвин, подобно Тарасу Шевченко, отождествляет для себя родину с одним из лучших созданий ее искусства. Что ж, именно такое ощущение родины — одно из бесчисленных ипостасей ее.

Сам Пушкин, говоря о родине, писал:

Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

А ведь родился Пушкин не в Царском Селе, а в Москве. Как видите, отечество, родина для Пушкина, для Пришвина и, думается, для большинства из нас — дело не столько географии, сколько сердца.

Родина наша там, где живет наше сердце. Сердце Пушкина не в шумной Москве, где он появился на свет, а в лицейских садах, где он «безмятежно расцветал», где «весной, при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала» юному поэту, где были с ним Дельвиг, Пущин, Кюхельбекер, где впервые пробуждалось дарование, формировался вкус, зарождались дружеские связи всей последующей жизни.

Родина Пушкина там, где он читал перед Державиным первые свои стихи. Родина Шевченко там, где Эней, родина Пришвина — «Капитанская дочка». К этому я смело могу добавить: наша общая родина — Пушкин, ибо Пушкин — это Россия.

Тут же, однако, я должен сказать, что Пушкин славен не только в России. Еще при жизни поэта его муза перешагнула рубежи родной страны. Проспер Мериме, первым переводивший Пушкина на французский язык, писал, что имя Пушкина сияет «среди имен величайших поэтов».

Прижизненно Пушкин переведен был в двенадцати странах, а сейчас его можно читать более чем на ста языках, не считая, пожалуй, не меньшего числа языков народов СССР.

Немецкий критик Гюнтер причислял Пушкина к шести бессмертным наравне с Гомером, Данте, Шекспиром, Кальдероном и Гете. Белинский писал о Пушкине:

«Это был не только великий русский поэт своего времени, но и великий поэт всех народов и всех веков, гении европейский, слава всемирная».

Народная тропа, ведущая к памятнику Пушкина, перевалила через Альпы и Тянь-Шань, через Дунай и Ганг, через Тихий и

Атлантический океаны, пролегла по всей земле.

Пушкин — всеземный полпред России.

Это так и иначе быть не может. Гений, по самой своей изначальной природе, есть явление широкозначное, всеобщественное, выходящее за пределы одной национальной культуры. Корнями своими это неповторимо прекрасное, щедро плодоносящее древо обязательно уходит в породившую его национальную почву, но столь же обязательно плоды его собирает весь мир. Гомер родился в Греции, Микеланджело — в Италии, Ньютон — в Англии, но каждый из них принадлежит не только своему народу, но всему миру.

Таков и Пушкин. Но прежде всего все же — России. И мы безмерно горды этим.

* * *

Все начинается с начала. Все имеет свои истоки, свои корни. Иногда они прозреваются без особого труда; иной раз добраться до них не так-то легко. Но во всех случаях знать о них нужно, важно, интересно.

Писательское дело ничем не отличается в этом смысле от всех иных человеческих дел, а если и отличается, то разве тем только, что тут докапываться, пожалуй, трудней, чем во многих других областях деятельности человека, но в то же время, может быть, и интересней.

Давайте же займемся этими интересными раскопками.

Что, однако, копать? Каких корней, каких связей доискиваться? Если задаться целью выяснить предысторию, первооснову и первомотив, какие существовали при замысле и при создании каждого пушкинского стихотворения, каждого произведения, то не хватит не только всей моей жизни, но и еще десяти таких же. Посему, уяснив себе в полной мере, что нельзя объять необъятного, с самого начала ставлю себе куда более скромную задачу — проследить истоки нескольких пушкинских стихотворений, возможно и отдельных строф или даже отдельных слов. И это может оказаться и интересным и поучительным, каждый раз по-своему интересным и по-своему поучительным.

В одной из своих работ, посвященных Пушкину, я проследил, как создавалось письмо Татьяны Онегину, как рождалось оно из предварительного прозаического плана. предварительного прозаического плана. Кстати, письмо Онегина Татьяне, помещенное в восьмой главе «Евгения Онегина», вовсе не имело плана и написано было спустя год после окончания главы — и не

в Болдине, где писалась глава, а в Царском Селе.

Так иногда процесс создания целостного произведения расчленяется на отдельные элементы, которые отдельно делаются, и вовсе не обязательно в той последовательности, в какой позже узнает их читатель. К примеру, глава восьмая «Евгения Онегина», о которой шла речь, вначале была девятой. Восьмой была глава «Путешествие Онегина». Пушкин намеревался издать вместе отдельной книжкой восьмую и девятую главы и даже написал предисловие к этой публикации.

Предисловие сохранилось в рукописи, но «Путешествие Онегина» дошло до нас не полностью.

Очень разрозненные черновые отрывки остались от десятой главы.

Посвящение Петру Плетневу («Не мысля гордый свет забавить…»), которое сейчас предшествует всему роману, впервые было опубликовано вместе с четвертой и пятой главами романа и предшествовало им, а читатель узнал о нем спустя почти пять лет после начала работы поэта над романом.

Все это могло происходить и происходило потому, что «Онегин» писался почти восемь лет, выходил в свет отдельными главами. И главы эти, и план дальнейшей работы неоднократно обдумывались, переобдумывались и менялись.

Но и с вещами, гораздо меньшими по объему и писавшимися быстро, происходило иной раз в отдельных частях их то же самое. Вступление к «Руслану и Людмиле» («У лукоморья дуб зеленый»), как и посвящение, предшествующее «Полтаве», написаны уже после самих поэм.

Любопытно, что даже такая поэма, как «Граф Нулин», которая выпалилась залпом в течение двух дней, и та имеет свою предысторию, и даже весьма немаловажную для понимания всей творческой истории Пушкина тех лет, хотя некоторые современники считали «Графа Нулина» ничего не стоящим пустячком и даже острили насчет того, что Нулин есть абсолютный нуль.

Остроты эти остаются на совести остряков, и в свое время Белинский сердито и вполне основательно заметил, что «…этой неотесанной критике и в голову не входило, что все это высокопарное („в одах Петрова, стопудовых пиимах Хераскова“), взятое массой, далеко не стоит одной страницы из „Графа Нулина“».

Тынянов, прослеживая творческий путь Пушкина на этом этапе, утверждал, что «„Граф Нулин“, написанный непосредственно вслед за „Борисом Годуновым“, является совершенно неожиданным методологическим откликом, реакцией

поэта на работу над документами». И дальше: «„Нулин“ возник диалектически в итоге работы с историческим материалом, в итоге возникшего вопроса об историческом материале как современном».

Интересна интерпретация этого стыка материала исторического и современного, которую дает ему Пушкин в своей «Заметке о поэме „Граф Нулин“»:

«В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая „Лукрецию“, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришло в голову дать пощечину Тарквинию? Может быть, это охладило бы его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить. Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал царей, и мир и история мира были бы не те.

Итак республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Цесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобно тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде.

Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра (13 и 14 декабря) написал эту повесть.

Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. „Граф Нулин“ написан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения». Имеется в виду восстание декабристов 14 декабря 1925 года.

А может, и не такие уж странные эти сближения. То, что в творческой настроенности поэта кажется с первого взгляда странным, неожиданным и непонятным, проясняется и объясняется, если приглядеться к творческой жизни поэта и к повседневью его, сопоставить сущее с бывшим.

Вот, к примеру, нам известно напечатанное Пушкиным в 1830 году в альманахе «Северные цветы» стихотворение «Я вас любил: любовь еще, быть может…»

Но при жизни Пушкина мало кому было известно напечатанное стихотворение, которое можно считать ранним предшественником стихотворения «Я вас любил…» Вот это стихотворение, найденное в бумагах Пушкина после его смерти:

Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Все кончено — я слышу твой ответ.
Обманывать, себя не стану вновь,
Тебя тоской преследовать не буду,

Прошедшее, быть может, позабуду —
Не для меня сотворена любовь.
Ты молода: душа твоя прекрасна,
И многими любима будешь ты.

Вы видите, как далеко ушел Пушкин вперед за шесть лет, отделяющих одно стихотворение от другого, насколько стройней, очищенней, выше и душевней стало новое отношение поэта к прошлому — и своему, и чужому.

Сравните начальные строки обоих стихотворений.

В первом варианте авторская интонация очень жестка и окончательна:

Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени…
……
Прошедшее, быть может, позабуду —
Не для меня сотворена любовь.

Во втором варианте все переведено в другой ключ, элегически мягкий и задушевный. Убраны окончательности: «все кончено», «в последний раз», «не для меня». Из всех этих четырех строк сохранено только «быть может» — и эти слова раздумья, размышления, колебания, нерешенности, душевной боли и взяты как основная тональность нового стихотворения.

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем.

Насколько это мягче по тональности и экономней, четче, совершенней по форме!

А последние две строки в первом варианте:

Ты молода: душа твоя прекрасна,
И многими любима будешь ты.

В варианте более позднем последние строки звучат иначе, сердечней, человечней:

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Последнее «дай вам бог» удивительно по-доброму произнесено. Дай вам бог доброй судьбы.

В заключительной строке первого варианта «И многими любима будешь ты» этого доброго напутствия нет. В ней говорится, что ты будешь многими любима, но о том, какова будет эта любовь, ничего не сказано. А в стихотворении «Я вас любил…» последняя строка — это напутствие и пожелание доброй, искренней, нежной любви, какая была у того, кто напутствует.

Еще одно различие этих двух стихотворений, мимо которого нельзя пройти. В первом варианте поэт обращается к своему адресату на ты, а во втором — на вы. Это различие больше, чем только интонационное. Оно касается и существа отношений обоих действователей. «Обняв твои колени» — это одна степень интимности; «Я вас любил так искренно, так нежно» — это другая степень. «Вас» вместо «ты» переводит отношения как бы в другой план, пожалуй, в более обобщающий, менее лично-конкретный, более — для всех.

И формально это «вы» вместо «ты» придает стиху более легкости, светлости, изящества.

И еще одно замечание о различии обоих стихотворений по признаку формальному. В стихотворении «Я вас любил…» вы уже не находите таких старообразных оборотов речи, как «горестные пени» или «сотворена любовь», какие встречаете в более раннем стихотворении «Все кончено…»

Нет, решительно, шесть лет спустя перед нами в разработке старой темы Пушкин — уже иной, новый, ощутимо более зрелый, более богатый душевно, с нюансами душевного состояния более тонкими и многообразными, а кроме того, и более искусный мастер.

Так время, обогащая душу поэта, обогащает и его творения.

То, что один мотив, использованный на определенной стадии творческого развития, позднее, на следующей ступени развития личности творца, повторяется, совершенствуясь и осложняясь, — обычно в творческой практике Пушкина. Положения, темы, строфы, строки, выражения, отдельные слова — все время ведут перекличку на страницах пушкинских рукописей, пушкинских стихов, уже напечатанных. Иногда эта перекличка — внутри самого процесса создания той или иной вещи; иногда — отклик на событие, строчку, слово, отделенные несколькими годами.

Вот перекличка, передумывание, усовершенствование внутри процесса. Стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» в первой редакции двадцать девятого года имело шестнадцать строк. Но когда стихотворение два года спустя

появилось в «Северных цветах», в нем было уже всего восемь строк.

Решительное изменение претерпели первые два стиха. В первой редакции они звучали так:

Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла,
Восходят звезды надо мною.

В окончательном виде эти стихи звучат иначе:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.

Начало стихотворения разительно выиграло в результате переработки. Первая строка великолепна по настроенности и поэтичности, вторая выиграла в точности и стала конкретной по местному пейзажу: «восходят звезды» во всем мире, «шумит Арагва» — только в Грузии. Два года, отделяющие первую редакцию от окончательной, как видите, принесли стихотворению добрые усовершенствования, в результате которых появилась на свет «одна из величайших элегий Пушкина», как назвал «На холмах Грузии…» Юрий Тынянов.

Еще одно сопоставление. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» — одно из самых популярных в пушкинском наследии. И почти неизвестен прямой, как мне кажется, родич его и «старший брат» последней строфы — следующий пушкинский отрывок:

Дубравы, где в тиши свободы
Встречал я счастьем каждый день,
Ступаю вновь под ваши своды,
Под вашу дружескую тень. —
И для меня воскресла радость,
И душу взволновали вновь
Моя потерянная младость,
Тоски мучительная сладость
И сердца первая любовь.

Это написано в тысяча восемьсот восемнадцатом году. А теперь прочтите написанную семь лет спустя последнюю строфу стихотворения «Я помню чудное мгновенье…»:

И сердце бьется в упоенье,
И для меня воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

В стихотворении двадцать пятого года повторены не только основной мотив стихотворения восемнадцатого года, но и частично фразеология старого отрывка.

Не дает ли это права не без некоторого основания предположить, что стихотворение «Я помню чудное мгновенье…», собственноручно поднесенное в двадцать пятом году в Тригорском Анне Керн, вовсе не полуэкспромт, написанный Пушкиным специально для нее, а стихотворение, написанное ранее, обращенное к другой и после переработки к случаю подаренное Пушкиным Анне Петровне при отъезде ее из Тригорского.

Не подтверждается ли это предположение еще и тем, что отрывок «Дубравы, где в тиши свободы…» написан в 1818 году, а первая встреча с Анной Керн в доме Олениных произошла годом позже.

Таким образом, воспоминание о первом явлении «мимолетного виденья», так сказать, предыстория второй встречи, при которой для сердца «воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь», относится не к встрече с Керн, а к встрече, происшедшей на год раньше, то есть к встрече с другой женщиной.

Возможно сделать такое предположение? Может быть и возможно. Но мне как-то не хочется настаивать на нем. Да едва ли оно в достаточной степени и правомерно. Если я и привел все эти соображения о связи двух стихотворений, отделенных одно от другого семью годами, то главным образом для того, чтобы показать, что «Я помню чудное мгновенье…» не сиюминутный экспромт, а произведение, как бы подготовленное прежними творческими поисками поэта.

А теперь еще одно сопоставление, невольно напрашивающееся при чтении приведенного отрывка «Дубравы, где в тиши свободы…» Я привел только первую строфу этого отрывка, сравнивая конец ее со стихотворением «Я помню чудное мгновенье…» Но отрывок «Дубравы» состоит из двух строф, и вторая строфа наталкивает на другое любопытное сопоставление. Прочтемте эту вторую и последнюю строфу отрывка.

Любовник муз уединенный,
В сени пленительных дубрав,

Я был свидетель умиленный
Ее младенческих забав.
Она цвела передо мною,
И я чудесной красоты
Уже отгадывал мечтою
Еще неясные черты,
И мысль об ней одушевила
Моей цевницы первый звук
И тайне сердца научила.

А теперь обратимся к «Евгению Онегину» и перечтем двадцать первую и двадцать вторую строфы второй главы.

Чуть отрок, Ольгою плененный,
Сердечных мук еще не знав,
Он был свидетель умиленный
Ее младенческих забав;
В тени хранительной дубравы
Он разделял ее забавы,
И детям прочили венцы
Друзья-соседи, их отцы.
В глуши, под сению смиренной,
Невинной прелести полна,
В глазах родителей, она
Цвела, как ландыш потаенный,
Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.
Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон,
И мысль об ней одушевила
Его цевницы первый стон.
Простите, игры золотые!
Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну…

Кто б мог предположить, что за «любовником муз уединенным» сокрыт будущий Ленский, а за подругой, с которой он разделял игры «в сени пленительных дубрав», — будущая Ольга Ларина?

Но, может быть, это и не так? Нет, именно так. Совпадают не только портреты персонажей в обоих случаях и не только обстановка, но совпадают целиком и некоторые строки, с той

разницей, что в отрывке «Дубравы…» поэтическое повествование ведется от первого лица и, следовательно, употребляются местоимения «я», «моей», а в «Евгении Онегине» идет рассказ о другом лице, и отсюда — «он» и «его».

Проглядите сами совпадающие строки:

В отрывке «Дубравы…»

Я был свидетель умиленный
Ее младенческих забав.

В «Евгении Онегине» — строфа двадцать первая второй главы:

Он был свидетель умиленный
Ее младенческих забав.

В отрывке «Дубравы…»

И мысль об ней одушевила
Моей цевницы первый звук.

В «Евгении Онегине» — двадцать вторая строфа второй главы:

И мысль об ней одушевила
Его цевницы первый стон.

«Стон» вместо «звук» обусловлен рифмой на предыдущую строку — «Младых восторгов первый сон».

Еще одна строка отрывка — «в сени пленительных дубрав» стала, чуть изменившись — «в тени хранительной дубравы», строкой одной из упомянутых строф «Евгения Онегина».

Из этих и предыдущих сличений вы убедитесь, как отрывок, написанный словно мимоходом и на всякий случай в 1818 году, откликается творческим эхом шесть-семь лет спустя в двух произведениях, одно из которых («Евгений Онегин») составляет вот уже полтора века гордость русской литературы, а другое («Я помню чудное мгновенье…») едва ли не самое общеизвестное и любимое из всей лирики Пушкина.

Еще одно, кажется, последнее примечание к моим сопоставлениям отрывка «Дубравы…» со стихотворением «Я помню чудное мгновенье…». Я высказал предположение, что в

этом отрывке заключено зерно того сладостного плода, который вызрел в стихотворении «Я помню чудное мгновенье…», и что отрывок этот с некоторой долей вероятности допускает мысль о том, что «Я помню чудное мгновенье…» могло быть обращено не к Анне Керн и, возможно, написано раньше второй встречи с ней в Михайловском, случившейся в июне-июле двадцать пятого года. Но приведенная мной после этого параллель между отрывками «Дубравы…» и второй главой «Евгения Онегина» делает это предположение вовсе маловероятным и, напротив, утверждает, что «Я помню чудное мгновенье…» обращено именно к Керн.

Из чего это явствует? Давайте рассуждать, Анна гостила в Тригорском у своей тетки П. Осиповой. Пушкин, живший по соседству в Михайловском дружный с семейством Осиповых, ежедневно приезжал или приходил в Тригорское и ежедневно виделся с Керн. В канун отъезда Керн Пушкин подарил ей «Я помню чудное мгновенье…». Вот как рассказывает об этом сама Анна Петровна:

«На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою А. Н. Вульф. Он пришел утром и на прощанье принес мне экземпляр II главы „Онегина“, в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами: „Я помню чудное мгновенье…“ Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю».

Будем доверчивы и предположим, что все было так, как описала это Керн. Тогда все подтверждает, что «Я помню чудное мгновенье…» действительно адресовано Керн. Все поведение Пушкина изобличает в нем пылко влюбленного и приносящего любимой свое только что созданное для нее творение. Есть и объективные показатели, и опять из области сопоставлений. Вот они: Пушкин вкладывает свой «поэтический подарок», как называет стихотворение Керн, в книжечку, содержащую вторую главу «Евгения Онегина».

Во второй главе есть, как я уже упоминал, мотивы, образы и даже строки, прямо заимствованные Пушкиным из своего раннего отрывка «Дубравы, где в тиши свободы…»

Намереваясь подарить уезжающей Керн эту главу, Пушкин мог, перелистывая ее, вспомнить, откуда он взял некоторые строки о первой любви Ленского. Отрывок этот встал перед его глазами, и он написал сходное по настроенности и даже по фразеологии с первой строфой стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» — этот гимн влюбленного. Таким образом «Евгений

Онегин», «Дубравы, где в тиши свободы…», «Я помню чудное мгновенье…» и Анна Керн сливаются в одно поэтическое целое.

Значит, «Я помню чудное мгновенье…» действительно написано для Керн пылко влюбленным в нее молодым поэтом, и все, вплоть до сцены неуравновешенноревнивой пылкости поэта при поднесении подарка, строго соответствует действительности…

Все… кроме одной, незначительной на первый взгляд, но немаловажной в данном случае детали. Дело в том, что, по словам Керн, Пушкин делает ей свой «поэтический подарок», вкладывая меж неразрезанных страниц второй главы «Евгения Онегина». А между тем, этого как раз и не могло быть, а значит, и не было, потому что описанное Анной Керн происходит в точно датированное время, в июле двадцать пятого года, а вторая глава «Евгения Онегина» впервые вышла, что тоже датировано, только в октябре следующего года, и, следовательно, параллели второй главы через отрывок «Дубравы…» с «Я помню чудное мгновенье…» в данном случае отпадают.

Пушкин действительно мог в июле двадцать пятого года поднести Керн свой «поэтический подарок», вложив его в главу «Евгения Онегина», но это могла быть только вышедшая пятью месяцами раньше первая глава романа, не имеющая прямого отношения ни к отрывку «Дубравы…», ни к стихотворению «Я помню чудное мгновенье…». Не может ли это послужить основанием для возвращения к той версии, что это стихотворение написано не в ночь перед отъездом Керн и не к ней обращено?

На мой взгляд — нет. Просто в мемуарах своих, создаваемых много лет спустя, Керн могла запамятовать, в какую книжку вложен был «поэтический подарок» при его поднесении, и допустить эту маленькую неточность.

Есть еще одна деталь, которая могла бы, пожалуй, вызвать сомнение в том, кому адресовано стихотворение «Я помню чудное мгновенье…». В заглавии его нет прямого обращения к адресату. Если многие другие пушкинские стихи в самом своем заглавии говорят, к кому они обращены, — «Ф. Н. Глинке», «Вяземскому», «Дельвигу», — то в заголовке стихотворения «Я помню чудное мгновенье…» вместо именного указателя адресата стоит таинственный шифр «К***». Я полагаю, что такой шифр в данном случае вполне оправдан. Опубликовать фамилию замужней женщины, к которой обращены слова любви, значило компрометировать ее, и поэт деликатно укрыл ее за тремя звездочками. А к кому обращено стихотворение, объясняло личное его вручение потом Анне Петровне Керн.

А теперь, оставив разыскания, относящиеся к стихотворению

«Я помню чудное мгновенье…», обратимся еще к одному примеру, доказывающему, что все поэтическое наследие Пушкина есть монолит, прочно сцепленный своими отдельными частями между собой. Для доказательства этого положения позвольте привести еще один пример.

Вот «Памятник», написанный в тридцать шестом году, а вот четыре черновые строки, не вошедшие в сороковую, заключительную строфу второй главы «Евгения Онегина», написанные двенадцатью годами раньше:

И этот юный стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть, о друзья:
Воздвигнул памятник и я.

Следует заметить при этом, что последняя строка первоначально была дана как цитата Горация и читалась

Exegi monumentum я.

Таким образом, вторая глава «Онегина» кончалась тем, чем начинался «Памятник», в котором «Exegi monumentum» поставлено эпиграфом.

Как видите, к цепочке связей «Дубравы…», «Я помню чудное мгновенье…», «Евгений Онегин» прибавляется еще одно звено: «Памятник». Но и это еще не последнее звено цепи. Мотив «Памятника» ощутимо проступает в стихотворении «Андрей Шенье», написанном годом позже цитированной мною второй главы «Евгения Онегина». Вот несколько строк из «Андрея Шенье»:

Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами.

Вглядитесь в строки: «Я скоро весь умру. Но…», «Храните рукопись…», «Сбирайтесь иногда читать мой свиток…» Разве они не сродни строкам «Памятника»?

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит.

Еще одна параллель. В известнейшем стихотворении «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») седьмая строфа начинается ведомыми всем и каждому строчками:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен…

А вот что записал Пушкин в альбом друга своего Пущина перед выпуском из Лицея, десятью годами раньше:

…но с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!

Иной раз переходят из стихотворения в стихотворение отдельные слова и выражения, пришедшиеся снова к месту. Так, в «Цыганах», в последнем восклицании закалываемой Земфиры: «Умру любя…», мы слышим отзвук последней строки стихотворения «Желание»: «Пускай умру, но пусть умру любя!» То же со словами «Заутра казнь…», которые мы находим и в «Полтаве» и в «Андрее Шенье». Состояния Кочубея и Шенье в канун гибели схожи: они и думают сходно, и говорят одни и те же слова.

Случается перекличка не только одних стихов с другими, но и стихов с письмами друзьям или близким. Вот в письме к жене 25 сентября 1835 года Пушкин из Михайловского пишет: «В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья…»

А день спустя, 26 сентября, Пушкин снова пишет о них же, о «молодой сосновой семье», но на этот раз уже в стихах:

На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо

Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я, и пред собою
Увидел их опять. Они все те же,
Все тот же их, знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!

Стоя перед могилой Пушкина и читая высеченные на камне слова «Здравствуй, племя младое, незнакомое!», едва ли кто сопоставляет эти слова с письмом к жене о «молодой сосновой семье».

А между тем, связь одного с другим — жизненного факта и факта поэтического — очевидна и неразрывна. Все, что в строках и между строк, выросло из жизни, и все, что в строках, врастает друг в друга, переплетается, взаимодействует. Все строки, все стихи, все творчество поэта — единое, неразрывное целое. Все строки и вся жизнь — единое и нераздельное целое. Все ветви единого древа поэзии тесно сплетены в одно. И все корни — густая сеть переплетенных между собою нитей, питающих и сплетенные ветви, и цветы, и плоды.